Ямская слобода / продолжение

Category: Hekaýalar,Kitapcy
написано kitapcy | 23 января, 2025
Ямская слобода / продолжение 5.

Рано смеркались серединные дни зимы, бесшумно и забыто лежал снег на равнине. Ямская слобода жила – не дышала, а Сват и Филат с прежней неукротимостью шили шапки, хотя чувствовали, что скоро шапкам конец и чем тогда заниматься – неизвестно.
– Пойдемте, Игнат Порфирыч, в ночные сторожа – в колотушечники! Милое дело – ночью караулить, а днем отдыхать! Только пока Прохор с Савелием не помрут, нас не возьмут – они давно живут в колотушечниках и их слободской староста любит!
– Нет, Филат! – заявил Сват. – Я в твои колотушечники не пойду. Лучше я буду днем в пустую бочку суковатой палкой задаром колотить, з в сторожа не пойду! Я еще свежий мужик, что ты меня в старики сдаешь? Мы еще обождем!
Шапочная работа еще кое-как шла, и сбыт был. Обыкновенно покупали шапки дальние мужики, но дело уже клонилось к весне, и шапки можно было брать только в солку, впрок, до будущего года. Несмотря на усердие в работе и экономную пищу, Сват и Филат ничего не заработали в запас, так что после шапок хоть дворы иди громить.

Заходит раз к шапочникам незнакомый мужик и спрашивает с порога:
– А картузы вы делать можете?
– Можем! – ответил Сват, чтобы завлечь человека.
– И козырек с глянцем сумеете сообразить?
– Можем и глянцу достать, если сто картузов себе купишь у нас! – сообщил Сват.
Мужик ехидно засмеялся и сел на лавку, опытно поглядев на шапочных мастеров. Он снял картуз, на котором был козырек без глянца, и сведущим голосом упрекнул:
– Черти-чудаки! Да разве глянцевого лаку теперь достанешь где – он из Германии раньше вагонами шел! Кого вы учите-то,

вошебойщики? Я сам весь век картузник! А теперь будя дурака гладить, я и под картузом знаю, что находится!..
Загадочный мужик так чего-то разобиделся, что не мог смирно сидеть, и начал рассматривать самый материал, из которого Сват и Филат делали свои незавидные шапки.
— Да разве это матерьял? Это — злодейство! Чем вы мысль-то, чем вы голову-то человека защищаете? Ведь это же валенок — он же пот копит и когти прячет, а вы самую голову задумали им украшать! Черти, холуйщики!
Сват живо раскусил гостя:
— Слушай, друг, а ты не с фронта, — в голову не контужен?
Мужик немного смирился:
— Оттуда… Газом в ум шибануло! Отпущен околевать домой. Все равно я без глянца работать не могу — туманный козырек ореола голове человека не дает! Как же можно?
— Мы сейчас есть собирались! — сказал Сват. — Садись, солдат, покушать!
— Давай, если угощаешь! — согласился гость. — Только достань мне молочка — хлеб макать; я тюрю такую дома едал и страсть соскучился по ней…
— Достанем и молочка тебе! — добрым голосом угощал Сват. — Чего-чего, а молочко есть! От станции-то пешком домой прешь?
— Конечно, пешком! — без обиды и тихо сказал гость. — У солдат, откуда деньги? А даром кто меня повезет?
Прошел день, ночь, и новый день уже постарел, а гость обжился и позабыл уйти, хотя башмаков не снимал. Он присел к Филату и умело кроил валяный материал. Сват не препятствовал хорошему человеку, только окорачивал его в еде. Действительно, гость кушал очень лихо и терял рассудок от аппетита, так что Филату мало доставалось.
— Уйми жвало, едок! — говорил Сват гостю. — Тут не ты один кормишься! Ишь, всю кашу в один мах пробузовал!
Гость немного укрощал себя, а потом снова забывался и потел от напряжения скул.
— Ты, должно быть, в работе горазд, раз есть так можешь? — спросил Сват.
— Ну, еще бы! — подтвердил гость. — Весь на мускуле стою — по

семь дней на фронте черепа, не спавши, крушил! Меру картох с товарищем в присест съедал!
— А на шитье-то ты усидчив? — любопытствовал Сват.
— Это для меня пустота! — заявил гость. — Это я могу неотлучно неделями сидеть, лишь бы, хлеб рядом лежал!..
В слободе кротко звонили к вечерне, а три друга утомлялись за работой. Чтобы перебивать усталость, Сват время от времени пытал гостя:
— Ну а что ж ты у нас обосновался? Аль у тебя родных нет?
Гость спохватывался и сообщал:
— Была жена да теща: жена ребенка заспала и сама удушилась на полотенце, а теща теперь на паперти с рукой стоит! Вот я теперь и тоскую сам с собой: сын бы нужон мне, да жены сразу не сыщешь.
— Зачем тебе сын? — удивился Сват. — Ты сам хлеба не ешь — мученика хочешь родить?
— Ну а то как же? — ничего не понимал гость. — Мне теперь не жить, и никому не цвесть — то война, то забота, — нет ничего задушевного. А сын малолетства не запомнит, а вырастет — тогда будет хорошо…
Сват сомневался:
— То никому не известно! Может, тогда еще больше увечья будет!
— Нельзя, я тебе говорю! — злобно заспорил гость и встал с пола. — Немыслимое дело! Я только молчу, а у меня с горя сердце кровью мокнет! Я весь заржавел от скорби — не знаю, куда мне деться! Ты думаешь — я с радости у тебя на пол сел за твои шапки, дырявая голова!.. Я на фронте был — там народ поголовно погибает, а ты говоришь, что сын мой еще больше увечиться будет! Да разве я дам его какой сволочи! Разве я пущу его на такое мученье, хамское ты отродье, дурак заштопанный? Да я горло гнилыми зубами по швам распущу за такое дело — любому сукину сыну в полмомента!..
Сват сидел и улыбался, довольный, что задел гостя за живое нутро. А гость подышал немного, собрал разбежавшиеся от возбуждения слова и снова принялся бить:
— Бабьи ублюдки, недоноски чертовы! Выдумали царя, веру, запечатали сверху отечеством и бьют народ, чтоб верность такой

выдумки доказать! Явится еще кто-нибудь—расчешет в культяпой голове иную выдумку и почнет дальше народ замертво класть! А это все чтоб одной правде все поверили! Да будь вы прокляты, триединые стервы!

Гость плюнул жидкими слюнями и треснул по плевку австрийским опорком.

Сват тянул дым из цигарки и весь светлел от удовольствия:

— Верно, друг, правильно! Живи у нас теперь задаром — я не знал, что ты такой!

Филат тоже радовался новому человеку и заговорил от себя:

— У кого есть родня дома, тот скучает на войне… А жена с сыном жальчей всех ему…

Загостивший солдат обратил внимание на Филата и, заметя его слова, открыл свою новую мысль:

— Царь и богатые люди не знают, что сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, и один дороже другому. И так цопко кровями все ухвачены, что расцепить — хуже, чем убить… А сверху глядеть — один ровный народ, и никто никому не дорог! Сукины они дети, да разве же допустимо любовь у человека отнимать? Чем потом отплачивать будут?

Гость говорил и жадно шевелил пальцами, как будто лепил руками теплые семьи и сплачивал родственников густой нераздельной кровью. Под конец он успокоился и тихо сообщил:

— Дюже много люди умственно соображают — это всем бедам беда…

— Да что ты, друг! — чуть ухмыльнулся Сват. — А я думал, ум нам в нужде помощник!

Гость подумал дальше:

— Когда помощник, то хорошо, а то его на жадность тянет — вот где горе! Человек бросится, а поперек дороги сердечное чувство лежит, его и потопчут! А после вернутся и плачут…

— Оставайся! — окончательно сказал Сват. — Проживем и втроем — не объешь!

Гость сейчас же стал разуваться и протяжно вздохнул, как дома. В первый раз он оглядел все жилище и нашел его удобным, потому что почувствовал такую усталость, которую не выспать за многие ночи подряд.

— Ишь! — сказал Сват ночью, когда гость спал. — Благородные

люди Думают, что мы рожаемся да жрем, а он вон живет и мучается, и в голове У него бурчит…
Филат дремал и думал о госте, что тяжко ему было сына и жену хоронить, — хорошо — у него нет никого, — и, не осилив себя, заснул.

Ночи понемногу кратчали, а нужда шапочников длиннела — товар перестали брать. Снег начал отапливаться солнцем и желтел от проступавшего прошлогоднего навоза. Иногда дни сверкали лучше летних — белизна замороженного снега в упор сопротивлялась солнечному огню — и чистый воздух остро мерцал от колкого холода и тягучего тепла.
Слобода жила зажмурившись — война подсушила благополучие ямщиков, и люди не хотели в такое время замечать роскошь новой весны.
Захар Васильевич тщательно работал на железной дороге и боялся одного — снятия с учета и отправки на фронт. Два мальчика его росли но отец любил их грубо, ничем не баловал и не ласкал.
А Настасья Семеновна обмирала о детях и так боялась за своих первенцев что постоянно мучила их лекарствами, трепеща до ужаса от детского поноса.
Макар шорничал и любовно готовился к летнему кузнечному ремеслу заранее вкушая прелесть открытых летних дней. Прочие люди также жили толково, каждый надеясь на что-нибудь лучшее и легкое.
Сват радовался увеличению света и тепла на дворе, но немного кручинился и завидовал мертвым неподвижным вещам: им незнакома была забота о еде и благополучии, они жили в каком-то покое и полном отдании себя.
— Летом с голоду и нарочно не умрешь! — говорил гость Миша, узнав про заботу Свата. — Можно голубей бить, рыбки сходим наловим, зелени съедобной надергаем — вот и суп и уха, а на второе блюдо — гуща!
Однако Сват загодя отправил Филата на его прежний заработок в слободу.
— Хоть и жалко тебя, кроткий человек, и сдружились мы с тобой, но сам видишь — втроем невтерпеж, а Мише некуда деваться!

Второй день мастера уже ничего не делали, а нынче Миша сходил за хлебом на последний пятак и то не мог донести хлеб в целости до дома — весь по дороге исковырял и выел мякушко.
— Ну-к что ж! — сказал Филат. — Пойду по дворам наведываться — где-нибудь останусь! А к вам, Игнат Порфирыч, в другой раз буду побалакать приходить!..

6.

Весна негромко проступала сонной мокрой землей на всяких вздутиях почвы. Филат шел и радовался, что у него есть знакомый — Игнат Порфирыч, и дом на свалках, куда можно всегда пойти.
Устроился он у Макара — доделывать четыре хомута и караулить кузницу, а сам Макар поехал по железной дороге наменять угля для горна. Многие люди в слободе говорили, что нельзя достать необходимых вещей, но ни Сват, ни Филат, ни Миша ни разу не имели нужды в таком предмете, который бы пропал из продажи. Поэтому только в слободе Филат понял, что такое война и ее сосущая, обездоливающая сила.
Слобода от сырости и отсутствия ремонта вся побурела и скорбно глядела запавшими окнами, как человек впроголодь. Собаки похудели и ночью молчали. И все шло в какую-то прорву; даже Филату жалко стало, и он готов был работать за самую плохую еду. Но Макар оставил ему пищи достаточно, потому что зимой занимался нужным ремеслом, работал на мужиков и в пище себе не отказывал.
Макар не возвращался долго, и Филат скучал без дела — хомуты он давно пошил. Каждый день он ходил к Свату и Мише: тем совсем было худо, и они существовали только тем, что Филат приносил из своих остатков.
А Филат приносил не остатки, а почти все, что ему полагалось есть у Макара, а себе оставлял одну хлебную горбушку и четыре картошки.
— Да ты сам-то сыт? — спрашивал Сват. — Гляди, съесть нам немудрено, а ты ослабнешь!
— Не ослабну! — стеснялся Филат. — Работы сейчас нету, а на

одно дыханье много есть не надо.
Сват обижался:
— Сообразил — дыханье! Ты погляди на Мишу: он тоже одним дыханьем занимается, а может сейчас любого зверя съесть!
— Могу! — лежа подтвердил Миша и вздохнул от аппетита.

Однажды Филат испуганно проснулся. В закоулке кузницы, где он спал, было так темно, что Филат чувствовал себя безопасно. Ночь за бревенчатой стеной укрыла слободу тихой чернотою и спрятала ее из мира до утра. Ничто внятно не тревожилось. Сонные ямщики, должно быть, не раз меняли отлежанные бока. Захар Васильевич говорил Филату, при починке плетня, что Настасья Семеновна как повернется ночью, так он летит на пол.
— Да Настя моя еще не так толста, а у кого баба толстая — вот кому горячка! — рассуждал и смеялся Захар Васильевич.
Но сейчас — совсем тихо; на улице нельзя услышать, как падают на пол мужья от ворочающихся, разопревших жен.
Вдруг Филат вздрогнул и приподнялся, а потом услышал — раз за разом — резкую, скорую стрельбу и смутный шум далекого страха.
Забывший сам себя, Филат никогда не видел окрестностей за околицей слободы, только помнил свою детскую деревню, где рос с матерью. Филату от работы некогда было опомниться и подумать головой о постороннем, — и так постепенно и нечаянно он отвык от размышления; а потом, — когда захотел, — уже нечем было: голова от бездействия ослабла навсегда.
Поэтому Филат сейчас задрожал и испугался от непонимания стрельбы. Про войну он знал, но вообразить ее не мог ни по каким рассказам Миши.
Стрельба утихла, зато явственно кричали люди. Филат догадался, что это на вокзале, и вышел наружу.
Небо вызвездило, и Филат внимательно оглядел его. В таком внимании к ночному небу жила старая мечта Филата — заметить звезду в то время, когда она отрывается с места и летит. Падающие звезды с детства волновали его, но он ни разу за всю жизнь не мог увидеть звезду, когда она трогается с неба.
Утром приехал Макар, — без угля и задумчивый:
— Царя давно нету — на железной дороге дезертиры бунтуют… А мы

сидим — ничего не знаем: народ шпалы со станции тащит, паровозы, говорят, артелям будут раздавать.
Филату эта весть была такой чужедальней, что он не очумел от нее, как Макар, а только молчал от небольшого любопытства. Он смутно чувствовал, что плетни, ведра, хомуты и другие вещи навсегда останутся в слободе и какой-нибудь человек их будет чинить.

К вечеру, как управился, Филат пошел к Свату, но встретил его с Мишей по дороге. Миша-гость шел весело и нес целый хлеб, а Сват глядел сам не свой от скрытого душевного движения.
— Уходим, Филат! — печально сказал Сват. — Теперь прощай, раз слободе мы не надобны.
— Да — ишь сукины дети! — угрожал Миша. — Хамье чертово: завзяли землю, живут на покое, а ты никому не нужен — ходи, блуждай!
Проводил их Филат до вокзала и попрощался:
— Может, придете когда, Игнат Порфирыч, слободу проведать?
Филат глядел на отбывающих с покорным горем и не знал, чем помочь себе в тоске расставания.
Сват тоже растрогался и смутился. У конца пути он обнял Филата и поцеловал его колючими усами в шершавые засохшие губы, которые целовала только мать, когда они были младенческими. Филат испугался поцелуя и жалобно сморщился от нечаянных, непривычных слез.
— Но, обмокла баба, а то мужиком бы была! — уныло сказал Миша и потянул Свата: — Ну чего ты расстраиваешь человека, — он других людей найдет! Просто он блажной такой!
Филат не сразу пошел к Макару, а дал круг и в тоске добрел до свалки. Хата Игната Порфирыча стояла теперь порожняя и смирная, но Филату казалось, что и стены и окна скучали по ушедшим — и скорбели от одиночества. Живой, милой и дорогой осталась опустелая хата, пропахшая людьми, бросившими ее. Филат постоял, потрогал дверь за ручку — ее каждый день брал Сват; поглядел в поле — его видел Игнат Порфирыч; прилег на пол — здесь спали они всю мрачную зиму, — и отвернулся от душного отчаяния, которое нельзя было заместить никаким

утешением.
Ежедневно ходил Филат к своей хате на свалке и издали смотрел на нее привязанными, нежными глазами. Он безрассудно ждал, что дверь отворится, выйдет Игнат Порфирыч с цигаркой и скажет:
— Заходи, Филат, чего ж ты на ветру стоишь! Я всегда тебе рад, кроткий человек!
По ночам на станции иногда стреляли, иногда нет. А слобода запасалась продовольствием, срочно стягивая все недоимки с мужиков за прошлогодний урожай. Захар Васильевич лично ездил в деревню к своему арендатору и наказывал:
— Время, Прохор, мутное, а ты мне пшена должен сорок пудов, вези, пока дорога заквокла, а то скоро распустит, тогда до самой фоминой недели не просохнет!
— Да я уж не знаю, Захар Васильевич, как и быть? — сомневался Прохор, не теряя учтивости в словах. — Говорят, будто земля теперь даром мужику отойдет и с недоимками дело терпится!
Захар Васильевич моргал от сердечного остервенения и слушал клекот своей разгневанной крови. Но говорил спокойно, чтобы осмеять мужика.
— Новая власть не дурей старой, Прохор! Ты не думай, — там дураков сменили, а помещиков поставили — теперь еще крепче земля в их руках жмется! Оно и верно: ты свой надел тоже даром соседу не откажешь! Революция — это одна свобода, а собственность тут ни при чем, — как была, так и останется!
— Надел — дело малое! — отвечал и раздумывал Прохор. — Не о нем теперча речь. А один солдат меня страшил, чтоб никак не сметь аренду платить, а то новая власть провалится и война вся сначала пойдет…
— Война не перестанет! — заявлял Захар Васильевич. — Война до конца германца будет идти! А о земле новых правое нету, Прохор, ты и думать забудь! А с пшеном не копайся, а то на будущий год на хутора землю отдам, — там народ посходней…
— Да это дело ваше, Захар Васильевич! А с пшеном не задержу; как телегу на ход поставлю, так и буду в слободе… Зря болтают люди, а мы подхватываем, а кто же его знает, — как будет, никому не известно! Завтра на станцию пешим схожу — солдат поспрошаю!

— Вали, Прохор, поспрошай, ноги у тебя не казенные и башка своя — никому не жалко! — сердился под конец Захар Васильевич и прощался.
Ямщики в слободе загудели. Староста через день созывал сходы и направлял недовольство в законное русло:
— С фронта дезертирии окаянной прет видимо-невидимо: врага отечества свободно пускают внутрь православной земли! Что же теперь делать, православные, когда и мужик даже обнаглел и чужую землю самовольно хочет от владельцев отнять! Таких уставов, по-моему, в законе нету! Но чтоб усечь нахальное самоуправство, нам нынче же надоть всем чином послать бумагу в губернию, чтобы там знали, что делается, и всем под той бумагой полностью и понятно расписаться!..
Филат жил без охоты и усердия — без Игната Порфирыча у него не было никакого интереса. У Макара от смутного времени притихла всякая работа, и он скоро отказал Филату: сам, говорит, видишь — делать нечего, а вдвоем сидеть неважно — ступай по дворам!

7.

Посреди слободы стоял двухэтажный старый дом. Около него колодезь, а у колодца круглый сарай — темница для лошади. В той темнице целый день лошадь кружилась на узком месте, таская деревянное водило. На водиле закручивались и раскручивались веревки, которые таскали бадьями воду из колодца. Вода сливалась в большой чан, а из чана напускалась в корыта. Из корыта крестьяне, приезжавшие в слободу на базар, поили лошадей по копейке с головы, а люди пили бесплатно.
В двухэтажном доме жил владелец колодца Спиридон Матвеич Сухоруков с женой Марфой Алексеевной и двумя детьми — мальчиками.
Филата Макар на прощанье сытно покормил, поэтому Филат зашел на колодезь воды испить. Но вода из чана не текла, а у двери темного сарая стоял Спиридон Матвеич и злобно глядел на прохожего.
— Колодца не копал, а пить хочешь, бродяжий сын! Подойди-ка сюда!

Филат подошел.
— Куда идешь? — спросил Спиридон Матвеич.
— Вышел работенки поспросить! — ответил Филат.
Спиридон Матвеич отошел сердцем:
— Бродите вы тут, материны дети, только землю зря ногами карябаете! Иди, я тебя к коню поставлю — мой холуй на деревню бунтовать ушел!
Филат очутился в темном сарае, где, зажмурившись, стояла худая лошадь.
— Чмокай на нее, чтоб она ходила! — сказал Спиридон Матвеич. — А сам наружу поглядывай: даром народ не пои — бери по копейке с воза, а с иного две!
Лошадь побрела по кругу, от натуги наливая кровью тощие жилы. Изредка она замирала и становилась: тогда Филат на нее чмокал — и лошадь дергала водило.
Шли темные часы, и Филата начала морить тесная и безответная тоска Он выходил наружу, слушал, как хлопают и опрокидываются в чан полные бадьи, и осматривал пустоту глухой улицы. Видно было просторное поле где светилась весна, но там ни один человек не шел. Филат грустно вспоминал Игната Порфирыча, но участь лошади, таскающей воду из колодца, была еще беспросветней — и Филату делалось от этого легче.
По ночам Филата клали в чулане, через стенку со спальней хозяев. Отвыкший спать в помещениях, Филат мучился от духоты и пугался потолка — ему казалось, что потолок снижается, как только он закрывает глаза.
Постепенно — навстречу лету — всходила трава и наряжалась в свои цветы молодости. Сады вдруг застеснялись и наскоро укрылись листвой. Почва запахла тревожным возбуждением, будто хотела родить особенную вечную жизнь, и луна сияла, как огонь на могиле любимых мертвецов, как фонарь над всеми дорогами, на которых встречаются и расстаются люди.
Филат с жалостью гонял свою лошадь и задумывался в темном сарае. Лошадь к нему привыкла и ходила без понуканий, поэтому Филат целые дни сидел самостоятельно — без всякого дела, лишь иногда принимая копейки от мужиков-водопойщиков. В ленивом или бездельном человеке всегда вырастают скорби и мысли, как

сорная трава по бросовой непаханой почве. Так случилось и с Филатом; но голова его, заросшая покойным салом бездействия, воображала и вспоминала смутно, огромно и страшно — как первое движение гор, заледеневших в кристаллы от давления и девственного забвения. Так что, когда шевелилась у Филата мысль, он слышал ее гул в своем сердце.

Иногда Филату казалось, что если бы он мог хорошо и гладко думать, как другие люди, то ему было бы легче одолеть сердечный гнет от неясного тоскующего зова. Этот зов звучал и вечерами превращался в явственный голос, говоривший малопонятные глухие слова. Но мозг не думал, а скрежетал — источник ясного сознания в нем был забит навсегда и не поддавался напору смутного чувства. Тогда Филат шел к лошади и помогал ей тащить водило, упирая сзади. Сделав кругов десять, он чувствовал качающую тошноту и пил холодную воду. Воду он любил пить помногу, она почему-то хорошо действовала на душевный покой — свежесть и чистота. Душу же свою Филат ощущал, как бугорок в горле, и иногда гладил горло, когда было жутко от одиночества и от памяти по Игнате Порфирыче.

В сарай часто забегал Васька — восьмилетний сын Спиридона Матвеича, охальный и умный мальчик. Филат его ласкал по голове и что-нибудь рассказывал. Васька тоже рассказывал, но особенное:

— Филат, мамка опять на горшок садится, а отец ругается…

— Ну, пускай, Вась, садится, она, может, больная и ветра на дворе боится! — объяснял Филат.

— Нет, Филат, она нарочно делает, чтоб отцу не продыхнуть: она такая блажная, — правда!

Филат начинал про другое — про Свата и Мишу-солдата. Но мальчик, послушав, опять вспоминал:

— Мать вчера чугунок со щами пролила, а отец ей как дернул рогачом по пузу… А мать кричит, что у ней краски тронулись, правда! Отец говорит: «Крась крышу, шлюха», — а мать не полезла на чердак, а легла на койку и плачет! Она всегда у нас притворяется!..

Филат мучился от слов мальчика и думал про себя: «Вот нас теперь трое — лошадь, я и мать мальчика». Тоскливое горе

раскололось на три части – и на каждого пришлось меньше.
Однажды Васька прибежал рано утром и закричал:
– Филат! Иди погляди – мамка в сенцах опять села, а отец на дворе кулеш поел, нам ничего не оставил!
Филат успокаивал мальчика, но самому было нехорошо.
После обеда Филат пошел в дом – ему нужно было взять денег у Спиридона Матвеича на новую веревку для бадьи.
Из сеней он услышал дикий издевленный крик Васьки и шепчущий голос его матери, которая хотела, наверно, ублаготворить ребенка и не могла.
– Дай свечку, зараза! – кричал Васька грозные слова, как большой. – Кому я говорю?! Дашь или нет – долго мне дожидаться? А то сейчас самовар на пол свалю, подлая тварь!
Мать ему быстро и испуганно шептала:
– Вась, ну не надо, Вась! Я сейчас найду тебе свечку – ты же сам ее вчера всю сжег… Я пойду за хлебом – куплю тебе новую…
– А я тебе говорю – ты спрятала свечку, проклятая сатана! – хрипел Васька и шевелил что-то гремящее, должно быть самовар.
– Ну, Вась, у меня же нету свечки – я куплю тебе ее…
– А я говорю – дай сейчас же! А то – вот тебе…
За этим загремела медь, и полилась шипящая вода: Васька сволок на пол самовар.
– Я же тебе говорил, чтоб дала, а ты все не давала! – уже спокойно объяснил Васька происшествие.
Филат осторожно открыл дверь и вошел в кухню, чувствуя свое бьющееся сердце и срам на щеках.
На табуретке сидела молодая женщина и плакала, прижав к глазам конец кофты.
Васька сердито глядел на живой кипяток и не сразу заметил Филата, а когда увидел, то сказал матери:
– Ага! Ты что наделала? Я вот отцу скажу – самовар полудили, а ты его на пол! Пусть только отец придет – он тебе покажет!
Женщина молча плакала. Филат испугался больше сына и матери и забыл, зачем он пришел. Женщина торопливо взглянула на него одичалыми черными глазами и вновь спрятала их под веки. Она была худа и очень красива – смуглая, измученная, с лицом, на котором глаза, рот, нос и уши хранились, точно украшения.

Неизвестно, как это все уцелело после родов, детей, мужа и такой губительной судьбы.
Другой мальчик, поменьше Васьки, сидел в углу и неслышно плакал вместе с матерью. Филат заметил, что он больше похож на мать — черный, с мягким настороженным лицом, будто постоянно ожидающим удара.
Спиридона Матвеича, очевидно, дома не было — и Филат без слов ушел.
В большие праздники Филат ходил либо к Макару, либо так просто в поле Макар говорил, что революция, как дождь, стороной где-то прошла, а Ямской слободы не тронула, и больше что-то ничего не видать и не слыхать: не то все кончилось, не то ливнем льет над другими местами.
— Да нам все равно! — беседовал Макар. — На всех богатства недостанет, а вот хлеба скоро не будет, тогда все само укротится!
— А на станции народ все едет? — спрашивал Филат.
— Едет, Филат! Дуром прет — вся война в хаты бежит! Да что ж, не без конца воевать — народ наболелся, теперь его не трожь!
Филат подолгу засиживался у Макара и все интересовался, пока тот не начинал зевать и указывать:
— Ты бы шел, Филат, нам с тобой сегодня отдых полагается, а то меня чего-то на немощь тянет!
Филат уходил и замолкал до будущего праздничного дня.
Зеленый свет лета уже смеркался и переходил в синий — свет зрелости и плодородного торжества. Филат наблюдал и думал о том, что скоро начнут снижаться такие высокие полдни, а лето постареет и станет коричневым, а потом желтым и золотым — таков цвет седой природы. Тогда слобода опять сожмется в домах и в четыре часа дня будет запирать свои ставни и зажигать керосиновый свет.
Слобода считала дни до уборки урожая и гадала — привезут аренду мужики или нет. Спиридон Матвеич был злой человек, изверг для домашней жены, но имел проницательный ум, когда беседовал с соседями у колодца.
Ямщики приходили к нему даже нарочно — спросить, что он думает о своей земле.

— Теперь земли у меня нет! — отвечал Спиридон Матвеич. — Мужики отъемом взяли — в расплату за войну…
— Да ведь правое-то новых еще не вышло, Спиридон Матвеич! — убеждал себя и собеседника ямщик. — Они хамством взяли, а не по закону!
Спиридон Матвеич мрачно осматривал голову говорившего, на которой остался лишь ободок волос. Он всегда наливался тяжелым гневом против глупости человека.
— Ты волос, должно быть, не от ума терял, а от греха, Ириней Фролыч! Хамство прячется тогда, когда сила царства его пугает, а теперь какое, к черту, у нас царство? Паровозы и то хотели по деревням растащить, а то земля-земля — первая вещь!
— Значит, ямщикам смерть приходит? — смирно спрашивал Ирине Фролыч.
Спиридон Матвеич делался серьезным до печали.
— Умирать еще погодим, Ириней. Я думаю, расправа будет наша, а ихняя.
— А аренду-то ждать в нынешнем году аль в будущем?
— Совсем не жди! — говорил Спиридон Матвеич. — И думать забудь — ни с какой арендой мужик теперь не явится, сам чем-нибудь промышляй!
Филат слушал и начинал понимать простоту революции — отъем земли. В ямщиках он давно заметил злую скрытую обиду и большой тревожный страх. Но страх в них день ото дня рос, а злоба таяла и превращалась в смирное огорчение, потому что в мужиках происходило наоборот: обида выросла в злую волю, а воля вела войну с помещиками — пожаром и разгромом.
Ямщики думали, что и слободе несдобровать, но потом поняли, что они — мелкие землевладельцы, а у мужиков и без них много хлопот.
Филат стал сосредоточенней глядеть по сторонам, хотя ничего легкого для себя не ждал. Он знал, что ворота для него нигде сами не откроются и зимой опять придется лютовать — еще хуже прошлогоднего: тогда хоть Игнат Порфирыч был. Но втайне Филат чувствовал какую-то влекущую мысль: он надеялся, что если выйдет из слободы, то с голоду не пропадет, а раньше бы пропал. Постоянный скрытый страх за жизнь, с годами

превратившийся в кротость, рассасывался внутри сам по себе, а сердце все больше разогревалось волнующими первыми желаниями. Чего он желал — Филат не знал. Иногда ему хотелось очутиться среди множества людей и заговорить о всем мире, как он одиноко догадывался о нем. Иногда — выйти на дорогу и навсегда забыть Ямскую слободу, тридцать лет дремучей жизни и то невыразимое сердечное тяготение, которое владеет, наверное, всеми людьми и увлекает их в темноту судьбы.

Филат не мог, как все много работавшие люди, думать сразу — ни с того ни с сего, он сначала что-нибудь чувствовал, а потом его чувство забиралось в голову, громя и изменяя ее нежное устройство. И на первых порах чувство так грубо встряхивало мысль, что она рождалась чудовищем и ее нельзя было гладко выговорить. Голова все еще не отвечала на смутное чувство, от этого Филат терял равновесие жизни.

В дом Игната Порфирыча Филат ходил редко: там вновь поселились нищие и беженцы, которые даже свалочную площадь сумели загадить. Но тоска по утрате друга у Филата теперь заросла грустным воспоминанием, почти не мучительным. Дом же привлекал не одной памятью о прошлом, но и звал уйти за теми, кто ушел из него. Этот дом как-то обнадеживал и радовал Филата и облегчал его время в слободе, будто то были последние дни, которые можно прожить как попало.

8.

Осень вступила по мягким осыпавшимся листьям и долго хранила землю сухой, а небо ясным. Очищенные от хлеба поля казались прохладной пустотой, и над ними реяли невидимые волосы паутины. Небо сияло голубым дном, как чаша, выпитая жадными устами. И шли те трогательные и потрясающие события, на которых существует мир, никогда не повторяясь и всегда поражая. Ежедневно человек из глубины и низов земли заново открывал белый свет над головой и питался кровью удивительных надежд.

Филат любил осень — в противоположность страху рассудка перед зимой. Ему казалось, что небо выше, воздуха больше и дышится

легче. И в этом году он созерцал знакомую и новую осень, чуть прислушиваясь к заботам ямщиков. А ямщики не столько заботились, сколько слушали, что делается на свете и передавали друг другу. Они еще верили, что революция — дурацкая сказка, и не боялись ее.
Сначала говорили, что земля обратно отходит к ямщикам — вышел новый крепкий закон, — и германца начали бить снова. Потом это забылось, и мир где-то бушевал молча, не доходя до слободы своим голосом.
Ямщики целой толпой ходили на станцию и спрашивали у стрелочника — не пора ли разбирать пути и все вокзальное имущество делить по народу. Стрелочник сказал, что пока надо погодить, но того не миновать — когда выйдет срок, он прибежит на слободу и скажет. Ямщики взяли из штабеля по шпале на двоих и пришли домой, немного обрадовав жен таким приобретением. Они особенно бывали довольны, когда удавалось что-нибудь получить задаром хотя бы даровые предметы и не приходились к хозяйству. Покупать же ничего не любили — им всегда казалось, что цена дорога. Это вышло исстари и уложилось в характере. Ведь вся годовая пища привозилась ямщику бесплатно мужиком, как аренда за землю, а дома были собственные; зато одежда служила причиной горя и семейных разладов, потому что она по необходимости, хотя и изредка, покупалась за деньги.

Старушки в одно воскресенье собрались после обедни на паперти храма и тронулись за околицу. Они заранее запаслись мешочками с постной пищей, уговорились с батюшкой и вышли шествием на Иоакимовский монастырь. Филат ходил на край слободы — получать с одного ямщика долг за хозяина, но не получил — ямщик был одинокий вдовец и ушел в монахи, отказав усадьбу теще. Филат увидел толпу бредущих старух и испугался их, как своей беды. Старухи шли с шепотом, распустив жидкие мертвые волосы. Их ноги скорбели в густом песке, и они поднимали юбки, чтобы не пылить, показывая худую остроту холодных ног. Священник шел впереди и отвлекал лицо от спутниц: он был еще не стар, но жизнь его запугала. Старухи спустились в слободской лог и скрылись за кустарником. Филат поглядел на следы самодельных

мягких туфлей и вспомнил почему-то гробы на чердаках, которые очень старые ямщики всегда готовили себе впрок и бережно хранили. Зато женщины, несмотря на старость, никогда преждевременно гробов не заказывали и погибали в старых подвенечных платьях.

Ямщики-солдаты, которые остались живы, все вернулись домой и по-разному рассказывали о революции: кто объяснял, что это — евреи восстали и громят все народы, чтобы остаться одним на земле и целиком завладеть ею, а кто говорил, что просто босота режет богачей и надо бросить слободу и бежать грабить имения и города, пока там осталось кое-что.

Пожилые ямщики увещевали людей молиться и ссылались на Библию, где нынешнее время до точности предсказано, и — надо только молиться с таким усердием, пока кровь не пойдет вместо пота, — тогда человек обратится в дух.

— А ты попробуй — помолись до крови! — говорил такому проповеднику Спиридон Матвеич, хитро подразумевая что-то про себя. — А мы поглядим, лучше ли станет твоему духу, когда жизнь пропадет!

— И попробую, и облегчусь! — исступленно отвечал пожилой ямщик. — А ты посмотри себе в сердце — ай тебе люба нынешняя жизнь: ни сыт, ни голоден, народ поедом ест друг дружку, царя испоганили, самого бога колышут… Ты погляди — ведь над тобой твердь дрожит!..

Спиридон Матвеич смотрел на твердь:

— Твердь ничего не дрожит: ты думаешь, есть когда богу такой суетой заниматься? Ишь ты, важный какой — бог только и следит за тобой!

— Я — не важный собой, да душа во мне есть — господнее имущество! — серчал и волновался старик.

— Не показывай тогда этого имущества никому — придет мужик или босяк и отымет: ты знаешь нынешнее время?

Спиридон Матвеич уже бедствовал с семьей — это видел Филат. Но он был самый умный в слободе и без раздражения терпел, раз не было спасения. До войны он держал большую лавку и прочно богател, но лавка сгорела вместе с домом. Спиридон Матвеич выдержал нужду, продал половину земли — спешно отстроился

заново и купил колодезь. Говорят, на пожаре у него задохнулась дочка от первой жены и он сам преждевременно бросил тушить двор, не видя смысла в имуществе без дочери. С того же года у него затмилось сердце — к людям он стал относиться резко и невнимательно, как к личным врагам.

Теперешнюю жену Спиридон Матвеич любил — Филат видел его скрытые заботы о ней, — но никогда не мог сдержать безумного нрава и бил ее неожиданно и чем попало, мучаясь и сжигая себя. Причина этого лежала не в виновности жены, а в глубоком затаенном горе, превратившемся в болезнь. Сам Спиридон Матвеич знал, что жена его добрая и красивая, и после избиения ее он иногда приходил в сарай и гладил лошадь, капая слезами на землю. Если Филат был близко, Спиридон Матвеич гнал его:

— Ты — выйди, Филат, там мужики понаехали, а ты деньги упускаешь!

Филат выходил и видел бедного человека в солдатской одежде, горстью утолявшего жажду из лошадиного лотка.

Скоро лето смерклось окончательно, и небо потухло за глухими тучами.

В одну пропащую ночь, когда земля, казалось, затонула в темном колодце, на том краю степи загудели пушки. Слобода одновременно проснулась, зажгла лампадки, и каждый домохозяин сплотил вокруг себя присмиревшую семью.

Под утро стрельба смолкла, и неизвестная степь покрылась поздними туманами. В этот день слобода ела только раз, потому что будущее стало страшным, а дождаться его хотелось всем безрассудно, и продовольствие тратилось экономно.

Вечером через слободу без остановки проехал конный отряд казаков, волоча четыре пушки. Некоторые казаки попоили лошадей у Филата на колодце. Спиридон Матвеич им продал табаку и узнал, что казаки ехали домой, но Совет города Луневецка их с оружием не пропустил и приказал разоружиться. Казаки отказались; тогда Совет выслал отряд, и казаки приняли бой. Теперь казаки идут на Дон обходным путем — через суходолы и водоразделы, бросив населенные речные долины, где завелись Советы.

— А из кого эти Советы набраны? — спросил Спиридон Матвеич.
— Кто их смотрел! — равнодушно ответил казак и сел на коня. — Говорят, там батраки и иногородние — всякая такая чужая сволочь!
— Вроде него, что ль? — указал Спиридон Матвеич на Филата, на котором от ветхости разверзалась одежда.
Казак тронул коня и оглянулся:
— Да — подобная голь.
Попозднее долго звонил колокол церкви, собирая ко всенощной всех опечаленных, всех износивших жизнь, всех, в ком смыкаются вежды над безнадежным сердцем. От свечей и скорбных вздохов через паперть шел дым и восходил вверх вянущим седым потоком. Нищие стояли двумя рядами и ссорились от своего множества, считая молитвы до конца службы. Грустное пение хора слепых выплывало наружу и смешивалось с тихим шелестом умерших деревьев. Иногда слепая солистка пела одна — и покорность молитвы превращалась в неутешимое отчаяние, даже нищие переставали браниться и умильно молчали.
А после службы люди сразу забывались и переходили к едким заботам. Одна умная женщина, покинув паперть, уже совестила мужа:
— Эх вы, мужики, — только ноете с бабами! Взяли бы ружья, отесали колья — да и пошли бы на деревню мужиков к закону приучать! А то у вас и хатенки поотберут, а вы все будете богу молиться да у чугуна толпиться: бабьи побздики, пра-аво!
Но муж ее молчал и сопел, раздражая этим жену.
— Ух, идол ненаглядный! — свирепела жена и с неотлегнувшим сердцем шла до самого двора. Дома ямщик скорее ложился спать и отворачивался к стенке, считая бегущих клопов.
Спиридон Матвеич ходил в церковь очень редко, и то из любви к пению. А Филат совсем не ходил — объяснял, что одежды нет.

На дворе стало уже холодать — Филату трудно терпелось в сарае, пока ходила лошадь: никакая ушивка больше не держалась на прозрачных, сгоревших от пота штанах, а пиджак истерся в холодный лепесток. Но Филат видел, что за день хозяин от колодца выручает копеек тридцать — мужики совсем перестали

ездить в слободу, — и попросить на починку одежды стеснялся. Он знал, что если его Спиридон Матвеич прогонит — ему конец: теперь никто не возьмет работника — все ямщики с потерей земли заплошали.

В одно утро Филат встал, вышел из кухни на двор — и весь свет для него переменился: выпал первый мохнатый снег. Вся земля затихла под снегом и лежала в мирной мертвой чистоте. Надолго смирившиеся деревья опустили ветки и бережно держали снег, гулкий воздух стоял на месте и ничего не трогал. Филат сделал отметку подошвой на снегу и вернулся на кухню.

Было рано, хорошо и прозрачно. В такой час можно чувствовать, как кровь трется в жилах, и особо остро переживаются те заглохшие воспоминания, где сам был виноват и губил людей. Тогда стыд поджигает кожу, несмотря на то что человек сидит один и нет его судьи.

Филат вспомнил мать, забытую в деревне, умершую на дороге, когда она шла спасаться к сыну. Но сын ничем не мог помочь матери — он тогда пас в ночном слободских лошадей и питался поочередно у хозяев. А жалованье — десять рублей в лето — приходилось на осень. Мать увезли с дороги обратно в деревню и там без гроба закопали добрые люди. После того Филат ни разу не был в своей деревне — за пятнадцать лет он не имел трех свободных дней подряд и крепкой одежды, чтоб не стыдно было показаться на селе. Теперь его на родине забыли окончательно, и больше не было места, куда бы добровольно тянуло Филата, не считая дома Игната Порфирыча.

В этот первый снежный день Спиридон Матвеич сказал, что лошадь надо продать — выручки с колодца нет, а сено дорого. Филат же должен искать себе новое место, а пока может жить на кухне, но харчей не будет — не те времена.

Филат притих. Когда ушел хозяин, он потрогал свое тело, которое доставляло ему постоянную беду от желания жить, и не мог никак очнуться.

Лошадь хозяин повел в деревню сам — и к вечеру вернулся один. Филат обошел круг, по которому топталась лошадь, и почти то же чувство тронуло его, что и в пустой хате на свалке, после ухода Игната Порфирыча.

Филат, ничего не евши, переночевал еще одну ночь, а утром пошел напрашиваться к Макару. Кузница стояла холодная, и дверь ее наполовину утонула в снегу. Макар сучил веревку в сарае и разговаривал сам с собою. Филат расслышал, что: веревка не верба – и зимой растет…

Когда Макар увидел Филата, он и слушать его не стал:

– Хорошим людям погибель приходит, а таким маломощным, как ты, надо прямо ложиться в снег и считать конец света!

Филат повернулся к воротам и, неожиданно обидевшись, сказал на ходу:

– Для кого в снегу смерть, а для меня он – дорога.

– Ну и вали по нем – ешь его и грейся! – с досадой закончил разговор Макар и перевел зло на веревку: – Сучья ты вещь, рваться горазда, а груз тащить тебя нету!..

Филат почувствовал такую крепость в себе, как будто у него был дом, а в доме обед и жена. Он уже больше не боялся голода и шел без стыда за свою одежду. «Я ни при чем, что мне так худо, – думал Филат. – Я не нарочно на свет родился, а нечаянно, пускай теперь все меня терпят за это, а я мучиться не буду».

Дойдя до дома З. В. Астахова, Филат разыскал хозяина и сказал ему о своей нужде. Захар Васильевич слушал обоими глухими ушами и понял Филата:

– Вчерась, говорят, сторож на кладбище умер – сегодня к обедне звонить некому было: ты бы наведался!

Жена Захара Васильевича мыла посуду и услышала совет мужа:

– Да сиди уж со своим сторожем – дьякон сам лазил звонить, – ты с глуху-то ничего не слышишь! Да и сторожа, Никитишна говорила, взяли – Пашку-сапожника.

– А? Какого Пашку? – спрашивал Захар Васильевич и моргал от внимания.

– Да Пашку-то! Сестра у него – Липка! – кричала жена Настасья Семеновна. – Мать-то он в прошлом году из могилы раскапывал – волоса да кости нашел! Вспомнил теперь?

– А! – сказал Захар Васильевич. – Пашку? Филат бы громче звонил!..

День еще не кончился, а от туч потемнело, и начал реять

легкий, редкий снег. Заунывно поскрипывала где-то ставня от местного дворового сквозняка, и Филат думал, что этой ставне тоже нехорошо живется.

Больше нигде Филата не ждали, и следовало только возвратиться к Спиридону Матвеичу на кухню и натощак переночевать.

Филат подумал, что еще рано: ляжешь — не уснешь, и пошел на свалку.

Дом Игната Порфирыча стоял одиноко, как и в прошлый год. Только много дорожек к нему по снегу протоптано: то бродили нищие к обедне и к вечерне.

Филат остановился невдалеке: внутрь дома его не пустили бы нищие. Под снежной пеленою ясно вздувались кучи слободского добра, а за ними лежала угасшая смутная степь.

Вдалеке — в розвальнях, по следам старого степного тракта — ехал одинокий мужичок в свою деревню, и его заволакивала ранняя тьма. И Филат бы сел к нему в сани, доехал до дымной теплой деревни, поел бы щей и уснул на душных полатях, позабыв вчерашний день. Но мужичок уже скрылся далеко и видел свет в окне своей избы.

Филат заметил, что в доме кто-то хочет зажечь огонь и не может — наверно, деревянное масло все вышло, а керосина тогда нигде не продавали. Дверь дома отворилась, изнутри раздался гортанный гул беспокойных нищих, и вышел человек с пылавшей пламенем цигаркой. Это он закуривал и освечивал окно. Человек с трудом неволил больные ноги по снегу и припадал всем туловищем. Дойдя до Филата, он вздохнул и сказал:

— Человек, сбегай за хлебцем в слободу — я тебе дам шматок, — ноги не идут!

Филат оживел и помчался, а нищий присел на корточки, чтобы не мучить ног, и стал ждать его.

Когда Филат вернулся с хлебом, нищий позвал его в хату:

— Пойдем погреться. Я тебе ножиком хлеб поровней отрежу, что ж ты тут один стоишь!

В хате было темней, чем снаружи, и воняло ветхой одеждой, преюшей не нечистом теле. Филат никого не мог разглядеть — сидело и лежало на полу и на скамейке человек десять, и все говорили на разные голоса.

Нищие уличали друг друга в скрытности и считали, кто сколько сегодня добыл.
— Ты мне не рассказывай, шлюха, я сама видела, как она тебе пятак подавала!..
— А я сдачи дала четыре, плоскомордая квакалка!
— А вот и нет, уж не бреши, — женщина повернулась и ушла…
— Ах ты, рыжая рвота, да у меня ни одного пятака нету — вот поди сыщи!
— А зачем ты бублик жевала, сладкоежка? Вот пятака-то и нету, матушка!
— Молчи, вошь сырая! А то как цокну в пасть, так причастие и выйдет наружу!..
И одна женщина поднялась, судя по голосу, — молодая и здоровая. Но тут зычно треснул чей-то мужской голос:
— Эй вы, черти-судари, опять хлестаться? Уймись! Свету дождемся, тогда я вас сам стравлю!
— Это все Фимка, Михал Фролыч! Она меня сладкоежкой ругает, что я бублик за год съела! — жаловался тот же свежий голос.
— Фимка! — гудел Михаил Фролыч. — Не трожь Варю: она не сладкоежка: сходит на двор — не увезешь на тележке!
Нищие захохотали, как счастливые люди.
Филат стоял у порога и слушал голос того, кого Варя назвала Михаилом Фролычем. Но больше Михаил Фролыч ничего не говорил.
Вдруг у Филата вспыхнула вся душа, и он без памяти крикнул:
— Игнат Порфирыч!
Нищие сразу замолкли.
— Это что за новый опо́рошник явился? — спросил в тишине голос Михаила Фролыча.
— Миша, это я! — сказал Филат. — А где тут Игнат Порфирыч?
Миша подошел к Филату и засветил спичку:
— А, это ты, Филат? Какой Игнат Порфирыч?
Филат ослабел ногами и слышал работу огромного сердца в своем пустом теле. Он прислонился к стене и тихо сказал:
— А помните, мы жили тут втроем зимой?
— Ага, ты про Игнатия спрашиваешь? — вспомнил Миша. — Был такой, да куда-то заховался — со мной его нету.
— А живой он теперь? — покорно спросил Филат.

— Если не лег где-нибудь, то живой стоит. Что он за особенный?
Миша отвечал скупо на вопросы, и Филат начал стесняться спрашивать больше. Скоро Миша лег на пол в углу, подложил под голову локоть и задремал. Филат не знал, что ему делать, и жевал хлеб старого нищего.
— Ложись с нами, молодой человек! — пригласила Варя. — На дворе стыдь наступила. Прихлопни дверь — и ложись. Завтра опять нам ручкой прясть и лицом срамиться. Ох ты жизнь — мамкина дура…
Варя еще побранилась немного и затихла. Филат прилег боком около Миши и омертвел до белого утра.
Миша поднялся рано — прежде нищих. Но Филат уже не спал.
— Ты куда, Миша?
— Да ведь я по делу, Филат. Вчера пришел — ночевать негде, вот и стал на старом месте. А сегодня я далеко должен быть.
— А где? — спросил Филат.
— До Луневецка должен бы дойти. Там Игнат Порфирыч меня дожидается… Кадеты поперли насмерть — насилу допросился в губернии подмоги.
Миша внимательно запаковал сумку, запахнул шинель и сказал Филату:
— Ну, ты пойдешь, что ли? Игнат Порфирыч поминал тебя… Успеем ли их целыми застать — казаки всю степь забрали. Хоть бы отряд не застрял — в губернии обещали сегодня послать. Набрешут, идолы, — у самих крутовня идет…
Миша подошел к Филату, одернул на нем измятый пиджак и вспомнил:
— Вчерась я тебе ничего не хотел говорить: думаю, на что ты нам нужен. Да проснулся ночью, поглядел, как ты спишь, — и жалко тебя стало: пусть, думаю, идет — пропадает человек.
Оглядев место ночлега, чтобы ничего не забыть, Миша тронулся. Филат — за ним и забыл про дверь.
Варя сразу почувствовала холод и от досады проснулась:
— Дверь оставили — чертовы меренья!

Андрей ПЛАТОНОВ. Hekaýalar